

Еще недавно можно было быть спокойным. Ни одно значительное, способное перевернуть человеческое существование открытие не могло проскользнуть незамеченным. Не было такого случая, чтобы всемирно известный польский писатель не возвестил о перспективах новой технологии и не предупредил мир о грядущих опасностях. На протяжении почти полувека каждое утро в одно и то же время Станислав Лем садился в кресло и пролистывал стопку научных журналов. Свободное владение четырьмя языками (английским, немецким, французским и русским) позволяло ему быть в курсе последних научных достижений. Несмотря на то, что пан Лем редко покидал свой дом в Кракове, он не был отшельником: Интернет заменял почти оглохшему писателю общение.

Лема не переставало удивлять, как быстро его фантазии осуществляются в реальности. Только осуществлялись они в искаженном, оправдывающем наихудшие опасения виде. В интервью он шутил, что чувствует себя чернокнижником, вызывающим темные силы. Так он объяснил в 1989 году свое решение перестать писать художественные произведения. Но, возможно, действительной причиной, заставившей писателя отложить перо фантаста и сосредоточиться на публицистике, был углубляющийся пессимизм.

С внешней стороны жизнь писателя складывалась на редкость безоблачно. С самого начала литературной карьеры Лем оказался в числе писателей, "которых можно печатать". Его охотно издавали по обе стороны "железного занавеса". Гонорары позволяли Лему вести безбедное существование и не зависеть от политической конъюнктуры. Перелом наступил в конце 1960-х, когда ранние традиционные по форме фантастические романы вдруг сменились гротескной, проникнутой черным юмором фантастикой: "Семь путешествий Трурля и Клапауция" (1964), "Осмотр на месте" (1982), "Мир на Земле" (1987). Приступая к "Сказкам роботов" или "Кибериаде", Лем рассчитывал взглянуть на человечество с точки зрения по ту сторону всего человеческого, глазами киборгов. Парадоксальным образом получилась по-свифтовски желчная, но искрометная сатира на человечество. Легко догадаться, что приходило людям в голову независимо от их местонахождения, когда они читали об "инфомахии" на плане Живля с использованием "лгашиша", "навралича", "лгаубиц", "брехометов"...

Рискну предположить, в психологическом надломе писателя сыграла роль старая, незаживающая рана. Современникам казалось, что Лем видел вещи в "обратной перспективе": хорошо — удаленные на несколько десятилетий, плохо — находящиеся перед глазами. Что же удивительного в том, что в начале 60-х Лем увидел и крах соцлагеря, и стратегическое поражение одной из двух сверхдержав, и каннибальские экономические реформы, и гражданские войны в самом центре Европы?..

Лем дебютировал как автор "красных утопий". В последующие годы писатель с каким-то мучительным, извращенным наслаждением высмеивал свои ранние произведения. Это самобичевание чем-то напоминало страдания человека, неспособного простить измену первой возлюбленной. Как страстно, должно быть, верил писатель в "светлое будущее", раз на предложение издать на японском языке "Магелланово облако" (1955) ответил: "Япония не знала коммунистического режима, и если мой роман обратит в коммунизм хотя бы одного-единственного японца, мне суждено гореть в аду"! При этом мало кто относился к капитализму с таким скептицизмом, как Лем. "Дневник, найденный в ванной" (1961) читается как безжалостная, почти кафкианская сатира на Запад. Публицистика Лема так и пестрит едкими, неожиданными и остроумными нападками на "Капитал" и "Большой Бизнес". В лучшем случае капиталистическое будущее рисовалось Лему в образах напичканного

электроникой одиночества посреди бездуховной и расчеловеченной "этикосферы"...

Лем был и остался технократом и сайентистом. До последних дней он упрямо повторял, что наука сама по себе нейтральна, что ее так же невозможно ненавидеть, как держать зло на гравитацию. Но пафос науки не смог заменить ему утраченной веры во всемогущество коммунистической системы. Лем отдавал себе отчет в экзистенциальных, этических и эмоциональных последствиях технического прогресса и не мог не видеть, что каждая, без исключения, новая технология имеет аверс пользы и реверс неизвестных до поры бед. Столь же невозможным оказалось для писателя найти утопию в космосе, куда он и перенес свое разочарование. Когда сотрудник космического агентства Кельвин прибыл на полувывершую научную станцию и встретил погибшую по его вине бывшую возлюбленную, он был вынужден вторично совершить преступление. Только так он мог избавить человечество от искупления и уничтожить порожденное плазменным океаном чистилище.

Лем был непримиримо жесток ко всем утопиям, повторяя, что всякое бегство в мечту заканчивается пробуждением в несимпатичной реальности. Не было такой остроты, которую Лем не отпустил бы на счет благодушных футурологов-оптимистов, вроде Фукуямы. Длившийся несколько лет процесс "Лем против Фукуямы" закончился капитуляцией последнего в книге "Наше постчеловеческое будущее" (2002).

Сегодня трудно подсчитать, сколькими энтузиастами, инженерами и учеными обязана советская наука Станиславу Лему и его романам. Но гораздо сложнее подсчитать, сколько еще поколений будет вглядываться в звездное небо в тайной надежде отыскать мерцающий, как смутное обетование, карий приют?

27 марта в клинике кардиохирургии Ягеллонского университета великий польский писатель умер. Но архипелаг осиротевших лемовских миров навсегда останется с нами.

В одном из последних интервью Лему задали вопрос: "Что будущее нам готовит?" Писатель ответил пушкинской строчкой: "Буря мглою небо кроет". Вчитываясь в послания "краковского оракула", не будем забывать, что не существует самоисполняющихся пророчеств. Облик грядущего зависит от того, чего мы не знаем и что по природе своей непредсказуемо. А значит, остается надежда. На человеческий разум и вторгающийся в человеческую жизнь смысл. Так проповедовал Лем.